

# Морские истории

—



РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Яркие страницы. Коллекционные издания

Лев Толстой

**Морские истории. Рассказы  
русских писателей**

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)-44

**Толстой Л. Н.**

Морские истории. Рассказы русских писателей / Л. Н. Толстой —  
«Эксмо», — (Яркие страницы. Коллекционные издания)

ISBN 978-5-04-227612-5

Матросы и капитаны, акулы и штормы, курортные наваждения и морские сны... Герои этих рассказов бросают вызов стихии, спасают утопающих, ищут любовь, теряют себя и обретают смысл — на палубах, под килем, среди чаек, скал и соленого ветра. В сборнике представлены произведения Толстого, Короленко, Станюковича, Серафимовича, Куприна, Бунина, Житкова, Паустовского, Айтматова и других мастеров русской прозы, которые открывают перед читателем мир моря — суровый, чарующий, бесконечно живой.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-04-227612-5

© Толстой Л. Н.  
© Эксмо

## Содержание

Ночь на корабле	6
Пожар на море	13
Акула	18
Прыжок	19
Мгновение	20
Человек за бортом	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Морские истории. Рассказы русских писателей**

© Паустовский К. Г., наследник, 2025

© Айтматов Ч. Т., наследники, 2025

© Искандер Ф. А., наследник, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

\* \* \*

## Ночь на корабле

*Я помню прежних лет безумную любовь,  
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило;  
Желаний и надежд томительный обман.  
Шумы, шумы, послушное ветрило!  
Волнуйся подо мной, угрюмый океан!*

*А. Пушкин*

*Александр Бестужев-Марлинский*

*Из записок гвардейского офицера на возвратном пути в Россию после кампании 1814 года*

*Рассказ*

Английский фрегат «Flich» («Стрела»),

6-й день пути

... Ветер свежал, валы разыгрывались сильнее и сильнее – фрегат<sup>1</sup> наш быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело – и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота, только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде<sup>2</sup>, и любовался великанскими валами, которые как будто наперерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе; клонился набок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Вахтенные матросы дремали по своим местам, и лишь однозвучное восклицание лейтенанта: «Steerboard! Backboard!» (право руля, лево руля) и вечный ответ: «Yes, yes» (слушаю!) повременно нарушал сторожливый сон мореходцев. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушные всех окружающих внушают спокойствие и самому робкому путешественнику; я беззаботно предавался мечтаньям под свистом ветра, и, между тем как взоры мои летали за брызгами сшибающихся валов, мысли стремились далеко, очень далеко.

– Опять мечтаешь! – сказал мне капитан фрегата Рональд, тихо ударив по плечу, – а любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компани. Но скажи искренно, dear Alister<sup>3</sup>, куда и к кому летала теперь крылатая мысль твоя?

– Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан! Я уже был на родине, милый Рональд!

Но я опишу прежде, кто был этот Рональд.

Он шотландец; говорят, отличный офицер на море и на суше; высокого росту и стройного стана, русоволос и смугл: две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но, право, если б я был женщиной, то трудно б было в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу; таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями.

– Я был на родине! – повторял я.

– Счастливцев! – сказал со вздохом Рональд. – Для тебя расцветает там будущее, но для меня оно нигде не существует.

---

<sup>1</sup> Фрегат – трехмачтовый военный парусный корабль; второй по величине после линейного корабля.

<sup>2</sup> Коронада – небольшая пушка.

<sup>3</sup> Дорогой Алистер (англ.).

– Ты несчастлив, Рональд? – спросил я, дружески пожав ему руку. Его тронуло мое участие. За это искреннее пожатие руки он заплатил мне таким взором, что, если этот взор при-  
снится мне и в могиле, я наверно улыбнусь от удовольствия. Со всем тем нелюбовь к челове-  
честву превозмогла, и он с горькою улыбкою повторил:

– Несчастлив! люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят: как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца! Что ж сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?

– Ты любил, Рональд?

– Любил ли я?.. какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния! Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви; прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость – юноша летит и любит. Ты сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами, товарищи не могут разуместь моих чувств; но у пылких душ одна отчизна, и я рад, что могу освежить свою разделом и высказать горе минутному другу, обитателю берегов невских; послушай.

Четыре года тому назад, как я ходил в Ост-Индию<sup>4</sup> на военном корабле, конвоировавшем флот компании. На возвратный путь к нам флагманом назначен был контр-адмирал кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Он избрал наш корабль для пребывания, и мы снялись с якоря, едва он ступил на палубу. Я уже слышался и о красоте старшей дочери Астона, но никогда не забуду той минуты, в которую ее увидел в полном блеске красоты и молодости. Как теперь гляжу на нее, одетую в светло-зеленое платье с перламутровою пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке; не умею выразить, что со мной случилось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она поблагодарила меня взором и, покрасневшись, опустила длинные ресницы!.. Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча, – такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер!

По счастью или по несчастью, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безотлучно находился при адмирале. Скоро я сделался у него домашним, еще скорее Мери ознакомилась со мною; уже она не краснела, встречаясь со мною взорами, – и нередко я заставлял их пристально устремленными на меня. Бывало, она садилась диктовать какую-нибудь бумагу по службе, и я не дивился, отчего в них так много пропусков и ошибок. Бывало, когда я сажу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце. Как любил я спорить с этою милою, остроумною Мери и как часто забывал свой предмет и доказательства, вперяясь в ее небесные очи! Сколько раз, безмолвен, в упоении и в забытии, сидел я за чайным столиком, любуясь каждым движением Мери и, кроме ее, ничего не видя и не слыша. Вся вселенная втеснилась для меня в каюту адмирала; в Мери забывал я всю вселенную. Три месяца восторгов пролетели как сон – и корабль наш бросил якорь у берегов Бразилии.

Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену со всеми недостатками дурного воспитания, со всеми пороками злого характера, со всеми прихотями ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым, который предпочитал беспрекословно повиноваться воле жены, чем с шумом исполнять свою. Однако же леди Астон умела даже и его вывести из терпения. Рассорилась с ним в Мадрасе и за две недели до его отъезда отправилась на ост-индском корабле к родным своим в Англию. Вообрази же, каково было наше изумление, когда при выходе адмирала на берег в Рио-Жанейро она кинулась в его

---

<sup>4</sup> Ост-Индия – так в старину называлась собственно Индия, в отличие от Вест-Индии – островов в Атлантике близ Американского континента.

объятия, как будто ничего не бывало. Такая неожиданная и нежеланная встреча поразила и испугала Астона, который был весьма рад избавиться от любезной своей половины; но стечение народа было многочисленно, семейные ссоры и театральные сцены были бы не у места. Астон покорились необходимости и, проклиная внутренне такой случай, прижал жену к груди своей.

Мое счастье улетело с приездом леди Астон на корабль. Эта капризная женщина видела все в черном виде, и каждое движение дочери и каждый шаг мой были перетолкованы и оценены. Меня стали звать к адмиралу реже и реже и наконец совсем удалили от должности. Все, что терпело сперва мое самолюбие от обхождения леди Астон, – было услаждено удовольствием видеть Мери, – но все это было ничто против мученья столь соседственной разлуки. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки, и только!.. О, Алистер! Это выше всякого понятия. Уныние Мери двоило тоску мою... и я таял очевидно. Этого мало: несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мери в каютное окно с галереи кают-компания, – но я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела.

Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева еще видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках; Мери плакала, сам адмирал ходил взад и вперед по каюте. «Вы съедете сию же минуту на корабль “Impregnable” (“Неодолимый”) и заступите там место заболевшего лейтенанта! – сказал он мне очень сурово. Я сожалею, что здесь задержал вас; вот ордер капитану Форрестеру... Прощайте!» Леди кивнула мне головою и бросила злобный взгляд; но я не мог видеть прелестного лица Мери, закрытого длинными ее локонами... Не помню, как вышел я наверх; не помню, как посадили меня в шлюпку; знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта и с корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Между тем буря свирепела час от часу, и уже нельзя было думать спустить гребное судно. Я остался.

Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен; двухдневная ночь задернула небо; ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Пазы стали расходиться от качки; вода врывалась в корабль, как в решето; и люди падали у помп от изнеможения. Вдруг мы почувствовали удар – и руль вылетел вон, как перо... «Кидай лот<sup>5</sup>!» – «28 фут». – «Плохо!» – «25 фут». – «Еще хуже!» – «24 фута». – Ай, ай! Ай! Еще фут, и мы на мели, но глубина вдруг пошла на прибыль. Утешительный голос запел: «35 фут!» – «Хорошо!» – «42 фута». – «Нельзя лучше!» – «50 фут». «Бесподобно!» – «Дна нет, лот проносит». – Слава богу, думали все. Ушли от гибели. Но в это же мгновение корабль всем днищем грянул на мель, и волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение! Мертвая тишина настала по стоне и воплям... корабль тихо повалился набок, валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, – разрушили ее в щепы, уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, – и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловецким криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом: все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту: половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью – от того, что я увидел при бледном свете фонаря. Адмирал, между женой и двумя полумертвыми дочерьми, хотел и не мог скрыть ужасную истину! Мысль о вечной разлуке оледенила слезы в глазах его. Казалось, он оспаривал у жадной стихии ее жертвы; казалось, он хотел заслонить их от волн, врывающихся в разбитые окна. А Мери... Я бы отдал тысячу жизней одна за другую, чтобы спасти Мери, – но я позабыл о себе и о смерти, когда она с воплем исступления кинулась ко мне на грудь и заклинала спасти ее сестру, ее родителей. – Не знаю, какой ангел сохранил меня от безумства – видя неизбежную гибель той, которая была для меня все!

---

<sup>5</sup> Лот – прибор для определения глубины.

Рассвет озарил весь ужас нашего положения: одна только корма оставалась на поверхности – все прочее разнесено было волнами. Перед нами в полуверсте лежал пустой каменистый берег, и высокие всплески показывали, что он неприступен. В горизонте не видно было ни одной мачты; только море бушевало кругом бедных остатков нашего корабля и ежеминутно грозило поглотить нас. Не знаю, можно ли вполне уразуметь мученье подобного состояния, еще более, когда видишь подле себя любезную?..

Я кончу вкратке, Алистер; мы решились связать в плот кой-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу, на Божию волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые Провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мери, поддерживал ее на воде, удалял бревна, могшие сдавить ее, и уже видел ее вне опасности распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас – и унес бесчувственную Мери опять в море...

– Она утонула? – вскричал я.

– Она спаслась, Алистер!

Одна любовь могла вдохнуть в меня новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и наконец достиг ее – и с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку – и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенело и журчало меня душило, грудь разрывалась – еще усилие, еще вздох – и больше не помню.

Есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж? Мери, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее, капли морской воды катились еще по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее, для ней только перестало биться! Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения!

Мы находились на пустом берегу острова Овезанда. Вся семья адмирала спаслась. Еще двое офицеров и восемь человек матросов... прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, с флота посланные, нашли нас и перевезли на покойнейший корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот, без всяких приключений, прибыл в Англию.

Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги, мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту гибели, и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мери, были у ней еще в свежей памяти: дом адмирала стал для меня отворен.

Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости» своему спокойствию. Свет был для меня не чужой: я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мери. Лорд Грагам считался мне сродни, и потому я мог смело кидать свои карточки на каминь богачей и вельмож, которые жили открыто. Мери, предупрежденная молвою, показала к ним в сопровождении толпы модных воздыхателей, и все наши dandys заахали от удивления, все кинулись ее смотреть с таким же чувством, как смотрят они новую панораму или белого слона. Но, к сожалению, увидел я, что лезть и пышность кружили Мери голову. Она уже скучала домашнею жизнью и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею; одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мери, и она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так много любил ее, что не мог не желать быть часто с нею; но довольно горд, чтоб не ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться очереди. Поэтому я танцевал с нею редко, и беспокойное мое воображение не дремало на досуге. Нередко, правда, когда Мери сходилась со мною, видно было, что, хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Рональда, и она незаметною ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж само-

любие мое оскорблялось тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов; как много крови сожгли во мне ревность и досада! Только дома находил я в ветреной Мери прежнюю милую Мери, и сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец благосклонность Мери оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравняла все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мери совершенно овладела мною – и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мери? Предки мои предводили кланами еще тогда, как предки многих из нынешних лордов пасли стада свои; имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Я не говорю уже о себе, потому что говорю в смысле приличий, хотя нигде и ни в чем я не бывал последним.

Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула. Привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обвиняками наговорила мне множество обидного. Для Мери я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренне разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характеру, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона; однако ж любовь перемогла, и я дня через три явился к обеду.

Упрямая леди не вышла; адмирал был холоден; я ожидал этого и не удивился; но вид Мери поразил меня: ее спокойное цветущее лицо нимало не изменилось при моем входе. Она обошла со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. Друг Алистер! Она коротко знала мой нрав, знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование, – знала – и ни одного взора, ни одного утешительного взора не склонила на того, кому за три дня посылала с ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему... и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я мог быть презрен, но презрителен – никогда! Рональд не привык играть роль Селадона на привязи – я гордо простился с Мери; но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле, и с тем – уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих!.. Друг! Друг! Я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства!

Заря застала меня на пути к Плимуту, и через десять дней я ступил на испанский берег, как волонтер Веллингтоновой<sup>6</sup> армии. Там искал я рассеяния и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы, для веселостей жизни, и шум бивака не заглушал тоски душевной. Образ Мери не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренно признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть эта утешала меня. Я любил воображать Мери невольно меня оправдывающую, может быть сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой, – мечтал, как дойдет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, – она со вздохом скажет: «он мог быть моим...», но к чему воскрешать невозвратное! К чему развевать пепел погасшей лавы!

Протекло два года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии. Она писала, что бывает часто у Астона, что у них многое переменялось. «В большом свете на все мода, – изъяснялась она. – Мери проблестела свою череду – и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку: один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мери не довольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она

<sup>6</sup> Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) – английский военачальник в 1808–1813 гг. Командовал союзными войсками в войне с Наполеоном на Пиренейском полуострове. В 1815 г. стал победителем в битве при Ватерлоо.

видит теперь, что напрасно метила на перов да вицеров<sup>7</sup>; зато бедная Мери, со своим пылким сердцем и в нем с необходимостью любить, достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисонов<sup>8</sup> в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать, подобно ей, ни даже разуместь ее чувствований. Забытая в толпе, Мери, снедаемая самолюбием и раскаянием, блекнет и худеет, и мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя, любит более чем когда-нибудь. Когда заводят о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкой, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Адмирал скучает, что не с кем спорить о политике... «Бывало, Рональд, – говорит он; даже леди Астон начинает хвалить тебя». «Милый братец, – прибавила кузина, – отбрось гордость, которая делает тебя несчастливим, перестань бегать от самого себя; приезжай к нам, а прочее сладится само собою. Мери еще прекрасна и с тобой расцветет вновь, как роза». Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев. Нет! Унижением не купит Рональд своего счастья, не станет заменительным мужем за недостатком лучшего, не будет *le pis-aller*<sup>9</sup>, как говорят французы. Я изорвал письмо и остался в армии.

Славный день сражения при Виттории был черным днем для меня. Увлеченный излишне запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулею в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и, выздоравливающий, полетел на родину. Как сладостно забилося сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утишает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей и родных и, скажу ли?... мечтал о Мери, о счастье; сердце ее оправдывало и даже самый разум говорил: «кто не заблуждался?..» Я колебался. Все может быть, думал я наконец; но к чему разгадывать будущее?

Между тем в ожидании пакетбота<sup>10</sup> мне вздумалось побродить по городу. «Вот английская церковь», – сказал лон-лакей<sup>11</sup>, указывая на один дом, и я зашел посмотреть ее. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в приделе, направо, стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом, и я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровья и нашла гроб, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. В церкви было темно: я наклонился, чтобы рассмотреть ее попристальнее, и вдруг глаза мои остановились вместе с дыханием: это была Мери Астон! Этих чувств, которые соединяют в одной минуте целые веки адских мучений, Алистер, не ощущают дважды. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым посиневшим устам обожаемой Мери и напечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился – и я без чувств упал на холодный пол... Друг Алистер! Я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать... – Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы... но ему нечего было их стыдиться – горячая

<sup>7</sup> Вицерай – вице-король, высший придворный чин.

<sup>8</sup> Грандисон – идеальный герой романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689–1761) «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

<sup>9</sup> Крайним средством (*фр.*).

<sup>10</sup> Пакетбот – небольшое судно, употреблявшееся для пересылок, связи.

<sup>11</sup> Лон-лакей – привратник.

слеза участия упала на сжатую в руке моей руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.

*1823*

## Пожар на море

*Иван Тургенев*  
*Рассказ*

Это было в мае 1838 года.

Я находился вместе с множеством других пассажиров на пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом и Любеком. Так как в то время железные дороги еще мало процветали, то все путешественники избирали морской путь. По этой же причине многие из них брали с собою собственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествие по Германии, Франции и т. д.

У нас на корабле, помнится мне, было двадцать восемь господских экипажей. Нас, пассажиров, было около двухсот восьмидесяти, считая в этом числе человек двадцать детей.

Я был тогда очень молод и, не страдая морской болезнью, очень был занят всеми этими новыми впечатлениями. На корабле было несколько дам, замечательно красивых или хорошеньких, – большая часть из них умерла, увы!

Матушка в первый раз отпустила меня ехать одного, и я должен был обещать ей вести себя благоразумно и, главное, не дотрогиваться до карт... И вот именно это-то последнее обещание и было нарушено первым.

В этот самый вечер было большое собрание в общей каюте, – между прочим, тут находилось несколько игроков, хорошо известных в Петербурге. Они каждый вечер играли в банк, и золото, которое в то время можно было видеть чаще, нежели теперь, оглушительно звенело.

Один из этих господ, видя, что я держусь в стороне, и не зная причины этого, неожиданно предложил мне принять участие в его игре; когда я, с наивностью своих девятнадцати лет, объяснил ему причину своего воздержания, – он расхохотался и, обращаясь к своим товарищам, воскликнул, что нашел сокровище: молодого человека, никогда не дотрогивавшегося до карт и вследствие этого самого предназначенного иметь огромное, неслыханное счастье, настоящее счастье простаков!..

Не знаю, как это случилось, но через десять минут я уже сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея обеспеченную долю в игре, – и играл, играл отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. Деньги текли ко мне ручьями; две кучки золота возвышались на столе по обеим сторонам моих дрожащих и покрытых каплями пота рук. Игрок, который завлек меня, не переставал меня подбивать и поощрять... Сказать по правде, я уж думал, что сразу разбогатею!..

Вдруг дверь каюты распаивается во всю ширину, в нее врывается дама вне себя, замирающим голосом восклицает: «Пожар!» – и падает в обмороке на диван. Это произвело сильнейшее волнение; никто не остался на месте; золото, серебро, банковые билеты покатались и рассыпались во все стороны, и мы все бросились вон. Как мы раньше не заметили дыма, который набирался уже и в каюту? я этого совершенно не понимаю! лестница была полна им. Темно-красное зарево, как от горящего каменного угля, вспыхивало там и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам не настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет здравого смысла. Впрочем, в том, что я видел вокруг себя, его было не более. Совершенно справедливо, что ничто не равняется тра-

гизму кораблекрушения или пожара в море, кроме их комизма. Например: богатый помещик, охваченный ужасом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили в отверстия угольных трюмов, на минуту укротила ярость пламени, он встал во весь рост и закричал громовым голосом: «Малoverные! неужели вы думали, что наш Бог, русский Бог, нас покинет?» Но в ту же минуту пламя метнуло сильнее, и многоверующий бедняк опять упал на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взором не переставал кричать: «Нужно послать курьера к государю! К нему послали курьера, когда был бунт военных поселений, где я был, да, лично, и это спасло хоть некоторых из нас!» Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с ожесточением принялся прокалывать находившийся тут же в багаже дрянной портретишко, писанный масляными красками и привязанный к своему мольберту. Концом зонтика он проткнул пять дырок: на месте глаз, носа, рта и ушей. Разрушение это он сопровождал восклицанием: «К чему все это теперь?» И эта картина ему не принадлежала! Толстый господин, весь в слезах, похожий на немецкого пивовара, не переставал вопить плаксивым голосом: «Капитан! Капитан!..» И когда капитан, вышедший из терпенья, схватил его за шиворот и крикнул ему: «Ну? я капитан, что же вам нужно?» – толстяк посмотрел на него с убитым видом и снова принялся стонать: «Капитан!» И, однако, этот же капитан всем нам спас жизнь. Во-первых, тем, что в последнюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, изменил направление нашего судна, которое, идя прямо на Любек, вместо того чтобы круто повернуть к берегу, непременно сгорело бы раньше, чем вошло в гавань; и во-вторых, тем еще, что приказал матросам обнажить кортики и без сожаления колоть всякого, кто попытается дотронуться до одной из двух оставшихся шлюпок, – все остальные опрокинулись благодаря неопытности пассажиров, хотевших спустить их в море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энергическими и холодными лицами и чуть не кровавым отблеском пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх. Был довольно сильный шквал; он еще усилился от пожара, который ревел в доброй трети судна. Я должен сознаться, что бы там ни подумала об этом мужская половина рода человеческого, что женщины в этом случае показали больше мужества, нежели мужчины. Бледных как смерть ночь застала их в постелях (вместо всякой одежды на них были накинута только одеяла), и как ни был я неверующ уже тогда, но они показались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить нас и придать нам храбрости. Но были, однако, и мужчины, которые выказали бесстрашие. Я особенно помню одного, г. Д-ва, нашего бывшего русского посланника в Копенгагене: он скинул сапоги, галстук и сюртук, который завязал рукавами на груди, и, сидя на толстом натянутом канате, болтал ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждого из нас по очереди с видом насмешливого сожаления. Что касается меня, то я нашел убежище на наружной лестнице, где и уселся на одной из последних ступенек. Я с оцепенением смотрел на красную пену, которая клокотала подо мною и брызги которой долетали мне в лицо, и говорил себе: «Так вот где придется погибнуть в девятнадцать лет!» – потому что я твердо решил лучше утонуть, чем испечься. Пламя сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его вой от рева волн.

Недалеко от меня, на той же лестнице, сидела маленькая старушка, должно быть, кухарка которого-нибудь из семейств, ехавших в Европу. Спрятав голову в руки, она, казалось, шептала молитвы, – вдруг она быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на моем лице пагубную решимость, или по какой другой причине, но она схватила меня за руку и почти умоляющим голосом настоятельно сказала: «Нет, барин, никто в своей жизни не волен, – и вы не вольны, как никто не волен. Что Бог велит, то пусть и сбудется, – ведь это значило бы на себя руки наложить, а за это бы вас на том свете покарали».

У меня не было до той минуты никакой охоты к самоубийству, но тут, из-за чего-то вроде хвастовства, совершенно необъяснимого в моем положении, я два или три раза притворился,

будто хочу исполнить намерение, которое она предполагает во мне, – и каждый раз бедная старуха бросалась ко мне, чтобы помешать тому, что в глазах ее было преступлением. Наконец мне сделалось стыдно, и я перестал. В самом деле, зачем играть комедию в присутствии смерти, которую в эту минуту я серьезно считал угрожающей и неизбежной? Впрочем, мне не хватило времени ни отдать себе отчета в этой странности чувств, ни восхититься отсутствием эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмом) бедной женщины, потому что в эту минуту рев пламени над нашими головами удвоил свою ярость, но как раз в ту же минуту голос, звеневший точно медь (это был голос нашего спасителя), раздался над нами: «Что вы там делаете, несчастные? Вы погибнете, идите за мною!» И тотчас, не зная, ни кто нас зовет, ни куда нужно идти, и старуха и я вскочили, будто подтолкнутые пружиной, и бросились сквозь дым вслед за матросом в синей куртке, который впереди нас лез вверх по веревочной лестнице. Не зная зачем, и я полез за ним по этой лестнице; я думаю, что, если бы он в эту минуту бросился в воду или сделал бы вообще что бы то ни было совсем необыкновенное, я слепо последовал бы за ним. Взобравшись на две или три ступеньки, матрос тяжело спрыгнул на верх одного из экипажей, низ которого уже загорался. Я прыгнул за ним и слышал, как старуха прыгнула за мною; потом с этого первого экипажа матрос прыгнул на второй, потом на третий, я все время позади него – и мы таким образом очутились на носу парохода.

Почти все пассажиры собрались здесь. Матросы под наблюдением капитана спускали в море одну из наших двух шлюпок – к счастью, самую большую. Через другой борт корабля я увидел ярко освещенные пожаром крутые береговые утесы, которые спускаются к Любеку. Было добрых две версты до этих утесов. Я не умел плавать – место, на котором мы стали на мель (мы и не заметили, как это случилось), было, по всей вероятности, не глубоко, но волны были очень велики. И все-таки, как только я увидел скалы, уверенность, что я спасен, овладела мною – и, к изумлению окружающих меня лиц, я несколько раз подпрыгнул и крикнул: «Ура!» Я не захотел подойти ближе к тому месту, где толпа теснилась, чтобы добраться до лестницы, которая вела к большой шлюпке, – там было слишком много женщин, стариков и детей; да я с тех пор, как увидел скалы, уже и не торопился больше: я был уверен, что спасен. Я с удивлением заметил, что почти никто из детей не выказывал страха, что некоторые из них даже засыпали на руках у матерей. Ни один ребенок не погиб. Я увидел среди группы пассажиров высокого генерала; с платья его текла вода; он стоял неподвижно, опираясь на поставленную стоймя лавку, которую он только что оторвал. Мне сказали, что в первую минуту перепуга он грубо оттолкнул женщину, которая хотела опередить его и раньше него спрыгнуть в одну из первых лодок, опрокинувшихся потом по вине пассажиров. Один из служащих на пароходе схватил его в охапку и с силой отбросил назад, на судно, и старый солдат, устыдившись своей минутной трусости, поклялся сойти с корабля только последним, после капитана. Он был высокого роста, бледен, с кровавой ссадиной на лбу, и глядел вокруг взглядом сокрушенным и покорным, точно бы просил прощенья.

В это время я приблизился к левому борту корабля и увидел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как игрушка; два находившиеся в ней матроса знаками приглашали пассажиров сделать рискованный прыжок в нее – но это было не легко: «Николай I» был линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпки. Наконец я решился: я начал с того, что стал на якорную цепь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже сделать скачок, когда толстая, тяжелая и мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцепилась мне за шею и недвижно повисла на мне. Признаюсь, первым моим побуждением было насильно перебросить ее руки через мою голову и таким образом отделаться от этой массы; к счастью, я не последовал этому побуждению. Толчок чуть не сбросил нас обоих в море, но, к счастью, тут же, перед моим носом, болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе кожу до крови... потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя ноша находимся как раз над шлюпкою

и... тогда с Богом! Я скользнул вниз... лодка затрещала во всех швах... «Ура!» – крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораблю, где увидел множество голов, особенно женских, лихорадочно теснившихся вдоль борта.

«Прыгайте!» – крикнул я, протягивая руки. В эту минуту успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопасности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу, и я поймал единственных трех женщин, решившихся прыгнуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время сбора. Нужно заметить, что каждая из этих дам непременно резко вскрикивала в ту минуту, когда бросалась с корабля, и, очутившись внизу, падала в обморок. Один господин, вероятно одуревший с перепугу, едва не убил одну из этих несчастных, бросив тяжелую шкатулку, которая разбилась, падая в нашу лодку, и оказалась довольно дорогим несесесером. Не спрашивая себя, имею ли я право распоряжаться ею, я тотчас подарил ее двум матросам, которые точно так же без всякого стеснения приняли подарок. Мы тотчас стали грести изо всех сил к берегу, сопровождаемые криками: «Возвращайтесь скорее! пришлите нам назад шлюпку!» Поэтому, когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вылезать. Мелкий, холодный дождик уже с час как моросил, не оказывая никакого влияния на пожар, но нас он промочил окончательно до костей.

Наконец мы добрались до этого желанного берега, который оказался не чем иным, как обширной лужей жидкой и липкой грязи, где ноги вязли по колено.

Наша лодка быстро удалась и так же, как и большая шлюпка, принялась снова между кораблем и берегом. Пассажиров погибло мало, всего восемь: один упал в угольный трюм; другой утонул, потому что захватил с собою все свои деньги. Этот последний, имя которого я едва знал, играл со мною в шахматы в продолжение большей части дня и делал это с таким ожесточением, что князь W..., следивший за нашею партией, кончил тем, что воскликнул: «Можно подумать, что вы играете, будто у вас дело идет о жизни и смерти!»

Что касается до багажа, то он почти весь погиб, так же как и экипажи.

В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа T..., очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряженной парой лошадей, за которым я сбегал на верх утесов и которого послал вперед, не нашел нужным дожждаться меня и уехал в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», потому что я никогда бы не поверил, что такая «махиница» может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более как широкое пылающее пятно, недвижимое на море, изборожденное черными контурами труб и мачт и вокруг которого тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки, – потом большой сноп золы, испещренный мелкими искрами и рассыпавшийся широкими кривыми линиями уже по менее беспокойным волнам. И только? – подумал я. – И вся наша жизнь разве только щепотка золы, которая разносится по ветру?

К счастью для философа, у которого начинал уже зуб на зуб не попадать, другой фурщик забрал меня. Он взял за это два дуката, но зато укутал меня в свой толстый плащ и спел мне две или три мекленбургские песни, которые мне довольно понравились. Таким образом, я добрался до Любека на заре; тут я встретил своих товарищей по крушению, и мы отправились в Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч рублей серебром, которые император Николай, как раз находившийся тогда проездом в Берлине, прислал нам со своим адъютантом. Все мужчины собрались и общим голосом решили предложить эти деньги дамам. Нам было тем легче сделать это, что в те времена всякий русский, приезжавший в Германию, пользовался неограниченным кредитом. Теперь уже не то.

Матрос, которому я за свое спасение наобещал непомерную сумму от имени матушки, явился требовать от меня исполнения моего обещания. Но так как я не был вполне уверен, он ли это действительно, да и сверх того, так как он ровно ничего не сделал, чтобы меня спасти, то я предложил ему талер, который он и принял с благодарностью.

Что касается до бедной старушки-кухарки, которая так заботилась о спасении моей души, то я ее никогда больше не видал – но уж про нее-то наверно можно сказать, что сгорела ли она или утонула, а место ее уже было уготовано в раю.

1883

## Акула

*Лев Толстой*  
*Рассказ*

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» – и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай! понатужься!»

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» – и все мы увидели в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

– Назад! назад! вернитесь! акула! – закричал артиллерист. Но ребята не слышали его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего.

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы к мальчикам; но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.

Мальчики сначала не слышали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услышали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза.

Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

1875

## Прыжок

*Лев Толстой*  
*Рассказ*

Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было – она знала, что ею забавляются, и оттого еще больше расходилась.

Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по веревке на первую перекладину; но обезьяна еще ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше.

– Так не уйдешь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла еще выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой<sup>12</sup> за веревку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но, как увидели, что он пустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и пойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять чаек<sup>13</sup>. Он увидел сына на мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и как только отец крикнул: «три» – мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлепнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как уже двадцать молодых-матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок – они долги показались всем – вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

1875

---

<sup>12</sup> У обезьян 4 руки. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

<sup>13</sup> Морские птицы. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

## Мгновение

*Владимир Короленко*  
*Очерк*

### I

– Будет буря, товарищ.

– Да, капрал, будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.

– Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убраться...

– Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.

– Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены... Прощай. Смена через два часа...

Капрал ушел, часовой остался на стенке небольшого форта, со всех сторон окруженного колышавшимися валами.

Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и по мере того как пламя разливалось по небу, – синева моря становилась все глубже и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зловещая и бледная от долго сдержанного гнева.

На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус: запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.

Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к острову. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки и море с грозной сознательностью торопятся покрыть это единственное суденышко мглой, гибелью, плеском своих пустынных валов.

В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни – несколько трепетных искр над беспредельным взволнованным океаном.

### II

– Стой! Кто идет?

Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.

Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни... К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, выжидает прибой, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус... Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.

– Кто идет? – опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями лодки.

– Брат! – отвечает рыбак, – отворите ворота ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!

– Погоди, сейчас придет капрал.

На стене задвигались тени, потом открылась тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры. Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет вспоминать на покое о сердитом грохоте океана и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уже первый шквал широкою, во все море, грядюю.

А в окне угловой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.

### III

В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился, и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел. Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.

Это был Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент<sup>14</sup> и флибустьер<sup>15</sup>. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чьего-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню. Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне – толстая железная решетка, за окном – море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег... И вспоминать... И, может быть, еще – надеяться.

Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на верхушках синих волн и выдвигало далекий берег, он подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень... Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени и среди них одна, когда-то близкая ему... Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом возмущенья и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно, в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбацьи суда сновали по морю, как морские чайки за добычей...

Понемногу все прошлое становилось для него, как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего... А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер, – он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи...

И еще годы прошли в этой летаргии. Хуан-Мария-Мигуэль-Хозе-Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку... К чему?..

Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова, – в глубине его души, как эти

---

<sup>14</sup> Инсургент – мятежник, участник восстания (*лат.*).

<sup>15</sup> Флибустьер – морской партизан (*фр.*).

камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось ему, опять отделяются какие-то тени и несутся над морскими валами, и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно. Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам... И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.

В его камерке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления...

Он знал, что его держит здесь не решетка... Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море, и еще... сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах...

#### IV

Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознания, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.

Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы с башенками над самой водой. Диац смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булабочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких оборванных ударов толкнулось с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены...

Но прошло еще несколько дней... Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег... И он подумал, что это опять был только сон...

Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекачилось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега... К вечеру в четырехугольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.

Диац только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит, что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега... Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.

Он лег на свой матрац.

Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диац спал спокойно; только по временам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страдания, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжело, как эти прибрежные камни в морской глубине...

Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целикам через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, и замирает вдали...

Диац сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было темно, море бесновалось в полной тьме и были слышны смешанные крики убежавшего шквала.

Хотя такие бури бывали не часто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое...

Он кинулся к окну и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелой мглой. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далекие, неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли... Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий...

Хозе-Мария-Мигуэль-Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется, как море. Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания... И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад... Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы... Это было восстание!..

Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и, в порыве странного одушевления, сильно затряс ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъяденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынулась из амбразуры.

А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка...

## V

На стене в это время сменился караул.

– Святой Иосиф... Святая Мария! – пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю, во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни, целыми годами лежавшие в глубине.

Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног... Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом в душе, озябший и несчастный, а над ним с воем несло что-то огромное, дикое, враждебное...

Когда грохот стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний. Скорее чувствовалось, чем виделось движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное, и гудело угрюмо, зловеще, непрерывно.

Только каменные стены форга оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур... Из дальней казармы в промежуток сравнительного затишья донеслись звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю... Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ровным, немигающим светом.

Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку... Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.

Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль... Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь... Нет, он не хочет бежать... На море гибель...

Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился...

В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытоптанный пол, на матрац, лежавший в углу... Над изголовьем, вырезанная глу-боко в камне, виднелась надпись:

«Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»

И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:

«Хуан-Мигуэль-Диац... Мигуэль-Диац...» И – цифры... Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами... «Матерь божия, уже два года»... «Три года... Господь, сохрани мой разум... Диац... Диац...»

Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний... Далее счет прекращался... Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой... И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря...

И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием... Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..

Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров... Диац отпустил руки и опять спрыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать... Ровный огонек опять светил из окна в темноту.

## VI

Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганам, читал про себя молитвы, прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море. Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни, и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.

Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где, уже не защищенное от ветра, море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла...

В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну, вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал руль, натянул парус и громко крикнул... Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни... Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку... Она поднималась, поднималась... казалось, целую вечность... Хозе-Мария-Мигуэль-Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь... Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы.

Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться... Со стены ее видели в последний раз... Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю...

## VII

А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало, колыхаясь и как будто стыдясь своего ночного разгула... Синие, тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, веселыми брызгами.

Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

Небольшой пароход крейсировал вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.

– Наверное, погиб, – сказал один... – Это было чистое безумие... Как вы думаете, дон Фернандо?

Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.

– Да, вероятно, погиб, – сказал он. – А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае, море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..

– Однако что это там? Посмотрите... – И офицер указал на южную оконечность гористого берега. На одном из крайних мысов, занятых лагерем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и, когда дым весь лег на сверкающие искрами волны, – все опять стихло. И берег, и море молчали...

Офицеры переглянулись... Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участии беглеца?.. Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?..

Ответа не было...

Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни...

1900

## Человек за бортом

*Константин Станюкович*

*Рассказ*

### I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось по горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан – оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

– Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь! – спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий сутулый старик Лаврентьев, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марсафалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, – отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любил лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем), – этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами, – обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, – смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались все молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

– За самое нутро хватает, подлец, – говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнею, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

– Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удалством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

– И хорошо же ты поешь, ах, хорошо, пес тебя ешь! – заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

– Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! – с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший чиновников<sup>16</sup> как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливового писарька и сказал:

– Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

– Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? – заметил сконфуженный писарек. – Эх, необразованный народ! – тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

– Ишь какая образованная мамзеля! – презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

– То-то я и говорю, – начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, важно ты поешь песни, Егорка...

– Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца Егорка!.. – заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, – все в нем притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких счастливых жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

---

<sup>16</sup> «Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. (Примеч. К. М. Станковича.)

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих гребнях угловое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики-матросы, выдавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

– И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? – снова заговорил Лаврентьич, посасывая носогрейку с махоркой. – Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да все не так забористо.

– Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! – прибавил Шутиков, улыбаясь.

И все почему-то улыгнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитый голос.

## II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой коротко остриженной круглой головой, он сообщил порывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

– Двадцать франкоков! Двадцать франкоков, братцы! – жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром – и... замок, братцы, сломан... двадцати франкоков нет...

– Это как же? Своего же брата обкрадывать? – закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.